

Вопрос об ограничениях.

Между тем об ограничениях царя Михаила существует ряд частных показаний, большинство которых относятся к XVIII в., именно ко времени около 1730 г. Таковы свидетельства русского историка В. Н. Татищева (кратко говорящего, что Михаила Федоровича избрали всенародно, но с ограничительной записью) и трех иностранцев. Из них два, Страленберг и Фокеродт, дают подробное изложение ограничений, составленное в духе их эпохи, а третий, Шмидт-Физельдек, кратко говорит о каких-то документах, содержащих ограничения и будто бы хранимых в XVIII в. в государственных хранилищах. Чтобы понять эти известия в их истинном значении, надобно знать, что в последние годы царствования Петра Великого среди его сотрудников обсуждался вопрос о необходимости устройства какого-либо органа власти, который бы сообщил верховному управлению, будто бы расстроеному Петром Великим, правильную организацию. Постепенно в умах некоторых сановников (кн. Д. М. Голицын) рождается мысль о полезности и возможности такой реформы, которая бы, устроив законодательную власть в стране, ограничила бы личный авторитет монарха. В учреждении Верховного тайного совета в начале 1726 г. многие готовы были видеть первый шаг именно в этом направлении, а в 1730 г. «верховники» пытались сделать и второй, более определенный и решительный шаг в сторону шведских олигархических порядков. Таким образом на пространстве двух десятилетий мы наблюдаем в высших кругах бюрократии известное течение политической мысли: оно отправляется от заботы восстановить нарушенную так называемой реформой правильность правительственных функций и приводит к попытке коренного государственного переворота. Сначала думают создать что-нибудь соответствующее старой «думе государевой», а затем приходят к решимости упразднить исконную полноту власти государя. И в том, и в другом фазисе размышлений и разговоров лица, причастные к данному делу, неизбежно должны были обращаться за справками и сравнениями к прошлому, именно к тем его моментам, когда в старой Москве ставились и решались те же самые вопросы о формах и способах управления. Ища ответа на свои вопросы в прошлом, они вспоминали – по устным преданиям – то, что было в старину, и по-своему освещали то, что вспоминали. Их воспоминания и толкования получали широкое распространение в кругу их близких и знакомых, – и вот почему около 1720-1730 гг. иностранцы, жившие в России и писавшие о ней, располагали такими сведениями о смутном времени и о начале царствования Михаила, какими не располагала ни печатная, ни рукописная историческая наша литература того времени. Приводя свои данные, эти лица ссылались иногда на частные архивы и частные рассказы. Страленберг, например, упоминает о письме, «которое, как говорят, можно еще было видеть в оригинале у недавно умершего фельдмаршала Шереметева и из коего некто, его читавший, сообщил мне (т. е. Страленбергу) несколько данных». Шмидт-Физельдек, живший в доме графа Миниха, не иначе, как только путем слухов, ходивших в кругу его патрона, мог быть осведомлен о документах, хранимых, по его сообщению, в Успенском соборе и каком-то «архиве». Исторический материал, добытый таким путем, не мог быть, конечно, точен и полон. Предание знало, что в смутное время избрание на престол В. Шуйского было сопряжено с обещаниями царя подданным. В хронографах и рукописных сборниках можно было найти и самую запись, на которой Шуйский «поволил» целовать крест. Таким образом, при желании и старании факт «ограничений» Шуйского мог быть установлен твердо. Знало предание и о том, что Владислава избрали на условиях; могли даже быть известны и самые условия тем, кто имел тогда доступ в архивы. Но условий, предложенных, как предполагали, царю Михаилу, никто не знал; между тем предание помнило, что царь Михаил Федорович правил не один, не по-старому, а с

участием земщины. Не зная действительных отношений царя и Земского собора, представляли их себе в том виде, какой считали нормальным по понятиям своей эпохи. Так и явились, думается нам, условия, изложенные у Страленберга и повторенные у Фокеродта и гр. Миниха. Они воспроизводили положение, не действительно бывшее в 1613 г., а такое, какое предполагалось для того времени естественным: царская власть ограничена бюрократической олигархией и связана рядом точно сформулированных условий в административных, судебных и финансовых ее функциях. Словом, предание о начале XVII в. строилось на данных начала XVIII в., и его детали в наших глазах должны характеризовать не первый, а второй из этих моментов. Таков будет, по нашему разумению, единственно правильный научный прием в оценке баснословного рассказа Страленберга и зависимых от него показаний Фокеродта и Миниха. Что же касается до остальных двух свидетельств XVIII столетия, именно упоминаний Шмидта-Физельдека и Татищева, то это только упоминания, не более. Один говорит, что в 1613 г. существовала «eine formliche Kapitulation», а другой – что царя Михаила избрали «с такой же записью», как и В. Шуйского. Оба эти известия доказывают только то, что их авторы верили в справедливость ходивших в их время рассказов о существовании ограничительной записи царя Михаила Федоровича и что самой записи они не видели и не знали.

Итак, если бы об ограничениях 1613 г. существовали только известия XVIII в., мы не дали бы им веры и воспользовались бы ими только для характеристики политического устроения тех кругов русского общества, которые подготовили «затейку» с пунктами 1730 г., а также ее падение. Возникновение предания о записи царя Михаила мы в таком случае объясняли бы неумением деятелей петровской эпохи понять соправительство Михаила с Земским собором иначе, как результат формального ограничения верховной власти, и притом ограничения по известному образцу. Но в данном случае вопрос осложняется тем, что о боярском ограничении власти М. Ф. Романова говорят два его современника – анонимный автор псковского сказания о смуте и известный Котошихин. Над тем, что они говорят, стоит остановиться.

Псковское сказание «о бедах и скорбех и напастех» давно уже оценено С. М. Соловьевым и А. И. Маркевичем. Однако и теперь физиономия этого памятника недостаточно ясна. Автор сказания неизвестен; не поддается определению и самая среда, к которой он принадлежал. Сделано лишь то наблюдение, что он не тяготел к высшим кругам, псковским или московским, и писал «в духе меньших людей, в духе собственно псковском, с сильным нерасположением к Москве, ко всему, что там делалось, преимущественно к боярам, их поведению и распоряжениям». К этим словам С. М. Соловьева следует добавить, что местная «собственно псковская» тенденция сказателя не была политической и не переходила в сепаратизм. Его протест был направлен против московских бояр как представителей высшего социального слоя, политически и экономически вредного одинаково для Пскова и Москвы – для всего русского народа. Демократическое настроение автора ведет его к крайностям и несправедливости. Раз дело касается «владущих», он готов на всякие обвинения и подозрения. Бояре Шуйские, по его мнению, злодейски погубили кн. М. В. Скопина-Шуйского; затем другие «от боярского роду» возненавидели «своего христианского царя» и стали желать царя «от поганных иноверных», чем и погубили Москву; при освобождении Москвы от поляков «древняя гордость» боярина кн. Д. Т. Трубецкого, не желавшего помочь Пожарскому, чуть было не помешала успеху дела. Стоявшие с Трубецким под Москвой «рустии бояре и князи», несмотря на горький опыт с Владиславом, снова умыслили призвать иноземного царя и дважды посылали за ним в Швецию, «и не сбыться их злый боярской совет», потому что «избрали ратные люди и все православные на Московское государство царем» М. Ф.

Романова. Когда, не ожидая результата посольства в Швецию, тотчас по взятии Москвы собрались русские и стали говорить: «Не возможно нам пребыти без царя ни единого часа», – то владущие и на соборе завели речь об иноземце: «И восхотеша начальницы паки себе царя от иноверных, народи же и ратнии не восхотеша сему быти». Таким образом, до воцарения Михаила Федоровича бояре, руководившие властью, приводили народ к бедам и гибели. При Михаиле пагубная деятельность владущих продолжалась, но из сферы политической она перешла в сферу административно-хозяйственную. Вот как представляет ее себе автор: так как новый государь был молод и не имел «еще толика разума, еже управлять землею», то «не без мятежа сотвори ему державу враг дьявол, возвыся паки владущих на мздоимание». Владущие снова стали кабалить себе народ, «емлюще в работу сильно себе» трудовое население, возвращавшееся из плена и бегов: они уже забыли прежнее «безвремение», когда «от своих раб разорени быша». Не боясь царя, они «его царская села себе поимаша», так как государь не знал своих земель вследствие пропажи писцовых книг, «яко земские книги преписания в разорение погибоша»¹. В то же время, умалив хищничеством государевы доходы, они понудили царя к увеличению податных тягот: «На государевы и государственные расходы брали со всей земли как обычные оброки и дани, так и экстренную пятаю деньгу, пятаю часть имения у тяглых людей»; на «царскую потребу и расходы» шли даже и те доходы, из которых прежде «государь царь оброки жаловаше», т. е. давал жалованье служилым людям (предполагаем, «четвертчикам»). Своекорыстно отнеслись бояре и к тому случаю, когда под Москву явились «нецыи вои, в Поморьи суще, бяху грабяще люди». Отстав от грабежа и сознав свою вину, эти вои-казаки пожелали идти на помощь Пскову, будто бы осажденному тогда шведами, – «и приидоша к царствующему граду и послаша к царю о себе». И вот, «слышав бояре, начаша советовати себе, как сии волныя люди себе поработити, понеже наши рабы прежде быша, а ныне нам сильны быша и не покоряхуся; и призваше во град голов их, яко до треисот... и переимаша их и перевязаша, а на прочих ратию изыдоша и разгромиша их и многих переимаша, а достальных 15000 в Литву отъехаша». В этом рассказе дело идет, очевидно, об известном походе воровских казаков к Москве и о поражении их князем Лыковым на реке Луже, причем событие излагается с точки зрения казачьей, «воровской», т. е. так, как изложил бы его участник воровского похода, желавший его оправдать и даже идеализировать. Не говоря уже о том, что казачий приход под Москву произошел за несколько месяцев ранее шведской осады Пскова, самые обстоятельства похода и правительственной репрессии переданы совсем неверно, с наивной тенденциозностью, идущей во что бы то ни стало против владущих бояр. Бояре, жадно и злобно хватающие себе царские земли и рабочих людей, разоряющие царя, государство и народ, представляются автору главным, даже единственным, пожалуй, злом его современности, на которое направлена вся сила его обличения. Мы готовы, поэтому, вспомнив казачьи речи смутной эпохи против «лихих бояр», счесть казаком и самого автора сказания. Но это не будет верно, так как наш автор не с казаками, а против казаков. Говоря о казачьем

¹ Дворцовые села и земли действительно были расхищаемы в смутное время, но уже в начале 1613 г. началось их обратное движение во дворец. Собор 1612-1613 гг. постановил «отписывать дворцовых сел пашенных и посошных и оброчных», и «оптищики посланы». Таким образом, хищениям полагали конец. Но при царе Михаиле законным порядком, и преимущественно в мелкую раздачу, стали снова, и притом усиленно, тратить дворцовый земельный фонд (см.: Готье Ю. В. «Замосковский край в XVII веке». М., 1906. С. 320-326). Это обстоятельство по-своему и освещает автор псковского сказания. Надобно заметить, что и в других псковских летописях бояре обличаются в присвоении земель: «А селы государевы розданы боярам в поместья, чем прежде кормили ратных», – говорится под 1618 г. в первой псковской летописи. Интересно, что здесь князь И. Ф. Троекуров представляется злодеем, тогда как в разбираемом псковском сказании ему высказывается похвала: так мало знали во Пскове московских бояр.

восстании при В. Шуйском, он характеризует восставших как «не желающих жити в законе божии и во блазей вере и в тишине, но в буйстве и во объядении и во упоминании и в разбойничестве живуще, желающе чюжаго имения и приступльших к литовским и немецким людям». Для него казаки – «яко полстии зверие от пустыня»: вот почему пскович, вооруженный против бояр, не может быть поставлен в казачьи ряды. Он – земский, только глубоко простонародный человек. Он видит в царе Богом избранную для воссоздания старого порядка власть, в которой «Бог воздвиже рог спасения людей своих», – и, когда около «блаженного», «зело кроткаго, тихаго» царя совершается зло и неправда, автор может объяснить это только боярским умыслом. Отозвали хороших воевод от Смоленска, а послали плохих и проиграли дело, – это вина бояр: они это сделали, они скрывали от царя неудачу, они не допускали к царю вестников: «Сицево бе попечение боярско о земли Русской!». Осадили шведы Псков, во Пскове стал голод, к царю «много посылаша из града о испоручении», – бояре скрывали от царя вести и вестников, «людские печали и гладу не поведаху ему», и Псков не получил помощи: «Сицево бе попечение боярско о граде!» Расстроился брак царя с Хлоповой, затем умерла его первая жена, – во всем виноваты бояре: «Все то зло сотворится от злых чаровников и зверообразных человек», – которые «гнушахуся своего государя и гордыхуся». Кого именно из бояр разумеет виновниками зла на Руси, автор сказания, по-видимому, точно не знал. Таков для него и князь Д. Т. Трубецкой, надменный «древнею гордостью» боярин; таковы же для него «царевы матери племянники», Салтыковы, которые «гнушались» своего государя и не хотели «в покорении и в послушании пребывати»; таковы же «под Москвою князи и бояре», призывавшие шведского королевича на московский престол; таковы же думцы царя Михаила Федоровича, не пославшие помощи под Смоленск и Псков. Для нас Трубецкой, Салтыковы, Пожарский с «князьями и боярами» под Москвой и в Ярославле князь Мстиславский с «товарищи», бывшие в думе царя Михаила с начала его царствования, – все это разные круги, направления и репутации. Для автора псковского сказания все эти люди – один «окаянный и злый совет», в котором он не различает партий и направлений. Всякий, кто в данное время пользуется, по выражению Грозного, «честию председания», тот для нашего автора и есть «владущий», стоящий у власти и злоупотребляющий ею. С демократических низов своего псковского мира автор готов был во всем подозревать всякого «владущего» в далекой Москве.

Такова обстановка, в которой находится краткое сообщение псковского автора о присяге царя Михаила. Оно дословно таково: владущие, захватывая себе людей и земли, «царя нивчтоже вмениша и не бояшеса его, понеже детеск сый, еще же и лестию уловивше: первые егда его на царство посадиша и к роте приведоша, еще от их вельможска роду и болярска, аще и вина будет преступлению их, не казнити их, но разсылати в затоки; сице окаяннии умыслиша; а в затоце коему случится быти, и оне друг о друге ходатайствуют ко царю и увещають и на милость паки обратитися. Сего ради и всю землю Русскую разделивше по своей воли» и т. д. Точный смысл этого показания состоит в том, что владущие бояре своевольничают, не боясь государя, во-первых, потому, что он молод, а во-вторых, потому, что им удалось его склонить, «уловить лестию», на то, чтобы не казнить, а только сослать виновных людей «вельможска роду и болярска». Как это удалось владущим, не совсем ясно из фраз нашего автора: его слова можно понять и так, что, бояре взяли с царя одно только это обещание под клятвой, когда его на «царство посадиша»: а можно понять и так, что, когда нового государя посадили на царство и взяли с него общую ограничительную «роту», присягу, то бояре склонили его и на особое в их пользу обязательство. Во всяком случае речь идет о какой-то «роте» и обязательстве в пользу бояр и по почину бояр. Ничего точного и определенного о форме и содержании ограничений автор, очевидно, не знал. Но он верил в «роту», потому что

иначе не мог себе объяснить и безнаказанности «владущих», и самый предмет этой роты он свел в своем представлении только к обязательству не казнить владущих, а рассылать «в затоки». Не знание политического факта, а желание объяснить непонятные факты исходя из слуха или своего домысла о царской «роте» – вот что лежит в основании наивного сообщения псковского писателя о московских делах и отношениях. Ознакомясь поближе с псковским известием, мы не придадим ему значения компетентного свидетельства. Глубоко престолярное воззрение на ход политической жизни, соединенное с незнанием действительной ее обстановки и проникнутое слепой ненавистью к сильным мира сего, сообщает псковскому сказанию известный историко-литературный интерес, но отнимает у него значение исторического «источника» в специальном смысле этого термина. Если бы об ограничениях царя Михаила сохранилось одно только псковское сообщение, разумеется, ему никто бы не поверил.

Иного рода сообщение известного Котошихина. Вот его существеннейшее содержание: «Как прежние цари после царя Ивана Васильевича обираны на царство, и на них были иманы письма... А нынешнего царя (Алексея) обрали на царство, а письма он на себя не дал никакого, что прежние цари даывали; и не спрашивали... А отец его блаженный памяти царь Михаил Федорович хотя самодержцем писался, однако без боярского совету не мог делати ничего». Опущенные нами пока фразы говорят о содержании «писем» и компетенции царя и бояр; в приведенных же словах вот что устанавливается категорически: во-первых, всех московских царей после Ивана Грозного «обирали на царство», во-вторых, с них брали ограничительные «письма», и в-третьих, ограничение царя Михаила имело действительную силу, и он правил с боярским советом. Котошихин знал московское прошлое, по выражению А. И. Маркевича, «плоховато», и его былевые показания необходимо тщательно проверять. Сам А. И. Маркевич в результате такой проверки выяснил, что под термином «обирание» у Котошихина надо разуместь не только избрание в нашем смысле слова, но и особый чин венчания на царство с участием «всей земли». Летописец, современный Котошихину, о царском венчании повествует даже так, что самый почин венчания усваивается земским людям. О венчании царя Федора Ивановича он, например, говорит: «Придоша к Москве изо всех городов Московского государства и молили со слезами царевича Федора Ивановича, чтобы не мешкал, сел на Московское государство и венчался царским венцом; он же, государь, не презре моления всех православных христиан и венчался царским венцом». О венчании же царя Михаила летописец говорит, что по приезде избранного царя в Москву, «придоша ко государю всю землю со слезами бити челом, чтобы государь венчался своим царским венцом: он же не презри их моление и венчался своим царским венцом». Тот же почин земщины разумеет и Котошихин, когда рассказывает о царе Алексее Михайловиче, что по смерти его отца все чины «соборовали» и «обрали» его и «учинили коронование». Роль земских чинов на этом «короновании», по представлению Котошихина, ограничивается тем, что представители сословий присутствуют при церковном торжестве, поздравляют государя и подносят ему подарки; «а было тех дворян и детей боярских и посадских людей для того обрания человека по два из города». Таким образом сообщения Котошихина о том, что русские цари после Грозного были «обираны», никак не может быть понято в смысле установления в Москве принципа избирательной монархии. Терминология нашего автора оказывается здесь не столь определенной и надежной, как представляется с первого взгляда. Равным образом и свидетельство Котошихина о «письмах» надобно надлежащим способом уяснить и проверить. Какие избранные на московский престол государи и каким именно порядком давали на себя письма, мы знаем без Котошихина; знаем и самые тексты «писем». Все эти «письма», по Котошихину, имеют одинаковое содержание: «быть нежестоким и

непалчивым, без суда и без вины никого не казнити ни за что и мыслити о всяких делах з бояре из думными людьми сопча, а без ведомости их тайно и явно никаких дел не делати». Мы знаем, что этими условиями исчерпывалось содержание только записи Шуйского; договоры же с иноземными избранниками имели более широкое содержание. Шуйский давал подданным обещание не злоупотреблять властью, а править по старому закону и обычаю. А Договоры с польским и шведским королевичами имели целью установить форму и пределы возникавшей династической унии с соседним государством и постановку в Москве власти чуждого происхождения. Иначе говоря, запись Шуйского гарантировала только интересы отдельных лиц и семей, другие же «письма» охраняли прежде всего целостность, независимость и самобытность всего государства. В этом глубокое различие известных нам «писем», различие оставшееся вне сознания Котошихина. Отсюда и неточность его в передаче самых ограничительных условий. У Котошихина власть государя ограничивается Боярской думой («боярами и думными людьми») во всех случаях безразлично. На деле Шуйский говорил только о боярском суде и налагал на себя ограничения лишь в сфере сыска, суда и конфискаций; по договору же с Владиславом администрация, суд и финансы обязательно входили в компетенцию Боярской думы, а законодательствовать могла лишь «вся земля». Зная это, отнесемся к сообщению Котошихина как к такому, которое лишь слегка и слишком поверхностно касается излагаемого факта. Как во всем прочем былевом материале, Котошихин и здесь оказывается мало обстоятельным и ненадежным историком. А раз это так, наше отношение к последней частности в рассказе Котошихина – к ограничениям царя Михаила – должно стать весьма осторожным. Кому именно царь Михаил дал на себя письмо, Котошихин не объясняет: он и вообще не говорит, кем были иманы на царях письма. По его представлению, царь Михаил не мог ничего делать «без боярского совету»; а так как боярский совет Котошихин дважды в данном своем отрывке отождествляет «з бояре з думными людьми», то ясно, что под боярским советом мы должны разуметь Боярскую думу, как учреждение, а не сословный круг бояр, как политическую среду. Сама Боярская дума в момент избрания Михаила, можно сказать, не существовала и ограничивать в свою пользу никого не могла. Органом контроля над личной деятельностью государя и его соправительницей она могла быть сделана лишь по воле тех, кто в начале 1613 г. владел политическим положением на Руси и мог заставить молодого царя дать «на себя письмо». Но кто тогда имел силу это сделать, Котошихин не говорит и не знает, и если мы захотим придать вес его сообщению о факте ограничения Михаила, то характер и способ этого ограничения должны попытаться определить сами. В этом отношении показание Котошихина совершенно невразумительно.

Таковы известия об ограничении власти царя Михаила Федоровича. Ни одно из них не передает точно и вероподобно текста предполагаемой записи или «письма», и все они в различных отношениях возбуждают недоверие или же недоумение. Из материала, который они дают, нет возможности составить научно правильное представление о действительном историческом факте. Дело усложняется еще и тем, что до нас не дошел подлинный текст (если только он когда-либо существовал) ограничительной грамоты 1613 г. и не наблюдается ни одного фактического указания на то, что личный авторитет государя был чем-либо стеснен даже в самое первое время его правления. При таком положении дела нет возможности безусловно верить показаниям об ограничениях, сколько бы ни нашлось таких показаний. Мы видели ранее, что в момент избрания Михаила положение великих бояр, представлявших собой все боярство, совершенно скомпрометировано. Их рассматривали как изменников и не пускали в думу, в которой сидело временное правительство – «начальники» боярского и небоярского чина с Трубецким, Пожарским и «Куземкою» во главе; их отдали на суд земщины, написав о них в

города, и выслали затем из Москвы, не позвав на государево избрание; их вернули в столицу только тогда, когда царь был выбран, и допустили 21 февраля участвовать в торжественном провозглашении избранного без них, но и ими признанного кандидата на царство. Возможно ли допустить, чтобы эти недавние узники польские, а затем казачьи и земские, только что получившие свободу и амнистию от «всея земли», могли предложить не ими избранному царю какие бы то ни было условия от своего лица или от имени их разбитого смутой сословия? Разумеется, нет. Такое ограничение власти в 1613 г. прямо немыслимо, сколько бы о нем ни говорили современники (псковское сказание) или ближайшие потомки (эпохи верховников).